

ГУБАХА

Искрасна-свинцовое облако висит над Губахой. Едкий дым проникает сквозь окна вагона. Появляется неприятный привкус во рту. Бороды огня и черного дыма полощутся в воздухе — горят коксохимические батареи Губахи. Отсюда идет кокс уральским металлургическим заводам, и Губаха должна дымить день и ночь. Огонь и черное играют на стеклах. Губаха втиснулась среди гор, и провентилировать ее может только ветер, дующий из пролозов высокогорья Косьвы, — тогда облако относится за поселок.

— Очень вредный здесь воздух, — говорит один из наших спутников, всматриваясь в окно. — Тяжело?

— С войны мы сильно нагрузили Губаху, — говорит Горюнов, — нужен металл, и без Губахи не обойтись... Вот отобьем Донбасс, станет легче. Уральцы живут здесь, и вот для них нет места милее их Губахи. Вот как странно устроен человек, ядри его палку!

Возле вагона стоит мальчишка. У него очень большие глаза, обведенные темным. Вот он нагибается, захватывает горстью снег, подносит ко рту.

Горюнов подходит к мальчишке и, взяв его ласково под

локоть, идет к переезду. Мальчишка вначале не понимает этой неожиданной ласки, но потом осваивается, принакает к нему, шумует большими валенками.

— Пойдем к реке. Там, кажется, воздух свежее.

— Везде одинаковый, — говорит мальчик.

— А на горе?

— Высокая, и идти далеко, через речку.

Мы подходили к Косье. По льду протоптаны тропинки. Прямо перед нами — горный кряж, покрытый поверху бородкой леса. У реки дышится легче. Вспыхнули огоньки надшахтных построек вниз по течению Косьвы. Под нами везде копаются люди. Губаха хорошо разработана. Километры выработанных и действующих лав! Где-то под нами трудится знаменитый татарин Якуб Шайхутдинов и его бригада...

Горюнов положил свою большую руку на плечо мальчика.

— Так, говоришь, высокая гора?

— Высокая.

— А как высока?

— С верхушки Пермь видна.

— Ой ли!

— Видна.

— До Перми, пожалуй, все двести километров наберутся.

— Все равно видна, — утверждает мальчик.

— Сам-то проверял? Иль кому поверил?

— Сам. Мы до войны ходили с отцом на гору каждое воскресенье.

— А во время войны?

— Не ходили. Потому сейчас воскресеньев почти нет. Ночью видны далеко огни. Говорил отец — город.

— Ну раз отец говорил, значит, правда. Отец врать не станет.

Горюнов надолго замолкает.

По тропинкам идут черные фигуры. Кое-кто с санями. На примитивных санях свернутый железный лист — уголь. Здесь уголь дешев и им топят печи. На той стороне слышится крик ямщика:

— Э-гей, гей!

Заржал конь.

— Кажется, Абакумов едет, — говорит Горюнов. — Ну да, Абакумов.

Сани ныряют на лед и несутся по дороге к нам. Ямщик взмывает концами вожжей, и вороной конь с налету берет берег и останавливается возле нас. Из саней выбирается грузный человек в высокой каракулевой шапке.

— Чуть не разломал меня, борода! — громким хрипловатым

баском говорит Абакумов.— Просил: пешком дойду. Так нет! Заставили ветра хватить. Пешком — километр, а конем — семь. Правильно я говорю, борода?

— Так точно, Егор Трофимович, — рывкает ямщик, — докатить дальше?

— Теперь не уговоришь, хватит! Давай домой!

— Есть домой!

Чуть не сбив с ног мальчишку, он круто разворачивает сани, и через секунду горячее тело коня проносится мимо меня.

— Не зашиб? — спрашивает участливо Горюнов мальчишку.

— Ничего, — мальчишка отряхивает снег с рукава, — я его знаю, кучера с Калининки. Свободно может задавить.

Абакумов обращает внимание на мальчишку. Поднимает голову за подбородок, всматривается.

— Что за хлопец? Знакомый тебе, Горюнов? Сколько годков?

— Тринадцать.

— Можно на уголь ставить, — шутит Абакумов. — На уголь пойдешь?

— Нет.

— Почему нет?

— На станцию пойду.

— На электрическую? Не советую...

— Там мой отец работает, мать, — насупившись, говорит мальчик.

— Все равно, — Абакумов обращается к Горюнову, — представь себе, опять «гнилой» ток дали. Так они мне все пожгут. Ты, как инженер-электрик, знаешь, что такое малая частота. А потом еще взяли в привычку совсем отключать шахты. Моя шахтерня хочет работать, а ей не дают. Жалуются мне: «Егор Трофимович, простуживаемся в лаве». Почему? Потому что без дела. Конечно, на боку полежать в погребе — и то сдохнешь, а в лаве? Дай ток — сколько угля накидают мои ребята! Для уголька одного человечье его пара недостаточно... Это же понимать нужно. Нужно немного — всего голову на плечах. Вот прошу я выделить для всего бассейна одну турбину. Сами за ней будем наблюдать, за котлом следить...

— А когда турбину остановишь, где будете ток брать?

Этот вопрос неожиданно задал мальчик, который внимательно следил за Абакумовым и все время пытался вмешаться в разговор.

— Ишь, какой болт! — удивился Абакумов. — Совсем не будем останавливать турбину, понял?

— Нельзя. Надо расплаковку котлов делать. Нельзя без остановки.

— Эй, да ты, хлопец, грамотный по этому делу! — Абакумов приподнимает брови. — Как тебя зовут?

— Иваном.

— Хорошо. Иван — хорошо. Натуральное имя. А если целиком, с именем, отчеством и фамилией?

— Иван Романович Терешин.

Мы подходим уже к станции, виднеется наш вагон. Абакумов идет рядом с Горюновым и мальчиком. Когда свет фонарей падает на лицо мальчика, Егор Трофимович говорит:

— Какой ты хунда-бледна!

— Какой есть, — мальчик обидчиво выскальзывает из рук Абакумова.

— Уралец, гордый, — тихо говорит Горюнов.

— Ну, надумал в шахту, Иван Романович? — басит Абакумов.

— Нет, там темно под землей. Воздуха мало.

— А тут?

— Тут хорошо, — мальчишка снимает рукавицу и прощается с нами серьезно, по-взрослому, за руку.

— Куда пойдешь? — спрашивает Абакумов.

— Домой. Картошку варить. Скоро отец с матерью придут с работы.

— Мать тоже на станции? — интересуется Горюнов.

— Тоже. До свиданья.

Мальчишка, прыгнув под пульман, исчезает. Абакумов смотрит в сторону реки, где мигают огоньки копров и подвесной дороги. Пламя коксохима окрашивает кровавыми блестками вершину Крестовой горы. На лицо, руки садится копоть.

— Вот таким мальчонкой я когда-то давно-давно был на своем Донбассе, — говорит Абакумов, и в голосе этого седого шахтера-руководителя слышатся нотки большой человеческой грусти. — Кто-то тоже, вероятно, говорил: «Отчего ты хунда-бледна?» И меня тогда жалели... А жалеть-то было не за что. В родном краю рос и ко всему привык. А чем Донбасс от Губахи отличается? Ничем. Гор нет, зато холмы, как горы, да сквозняков больше, только и всего. И нет для меня места лучше Донбасса! Потому что прошли там детство и юность... Вот возьми того Ивана Романовича в свой салон-вагон да завези от Губахи подальше. Сбежит, ей-богу, сбежит... Вот как, Горюнов, шахтерня ты несчастная, кизелевец! Тоже наш брат, куда ни крути...

Абакумов как-то быстро прощается с нами и уходит к станции. Перед уходом он берет с Горюнова обещание побывать завтра на электростанции и помочь ему. Горюнов обещает Егору Трофимовичу, отряхивает бурки и поднимается в вагон.

— Как фамилия-то мальчишки? — спрашивает он за ужином своего помощника.

— Терешин.

— Напомни мне завтра. Надо посмотреть отца его на электростанции.

Утром мы пешком отправляемся на электростанцию, которая, кстати, недалеко.

У директора, которого все называли просто по имени и отчеству, собралось довольно многочисленное общество, несколько смущавшее его. Вначале пришли мы, потом представители правления железной дороги, потом ввалилась большая группа угольщиков и местных властей, приведенных Егором Трофимовичем.

Тут был секретарь горкома в зеленой шерстяной гимнастерке с полевой сумкой в руках и почему-то португеей через плечо; председатель горсовета — человек с грубым простуженным басом и шелковым шарфом на шее; потом, оправляя военную рубашку, вошли один из начальников Уралугля — полный человек с золотыми зубами во всей нижней челюсти — и еще два человека.

Говорил Абакумов. Ему предстояло решить свое несложное дело по подаче энергии шахтам, и потому он сразу же завладел всеми интересами, подчинив их себе. Сегодня я мог ближе рассмотреть этого человека — бывшего шахтера, а теперь заместителя наркома угольной промышленности. Раньше я много слышал об Абакумове, вчера встретился впервые и сегодня внимательно присматривался к нему — к человеку, о котором никто никогда не говорил плохо.

Абакумов разделся, на груди сияли три ордена. Он толст, с сочным, несколько булькающим, хрипловатым баском, с головой, покрытой удивительно белыми, какими-то снежными и мягкими волосами. Говорят, что Егор Трофимович не так давно был черен, как смоль. В это сейчас трудно поверить, но когда вспоминаешь последние события, пролетевшие над нашей страной, веришь во все, тем более в седые волосы ее честных руководителей.

Глаза у Абакумова карие, немного навывкате, добрые, умные и насмешливые. Он носит усы, которые коротко стрижет. Человек он, конечно, деловито-хитрый, знающий себе цену. Придя сюда, он сел за стол справа от директора станции, но секретарь горкома, чтобы почтить Абакумова, попросил пересест в кресло, что у стола, напротив Горюнова.

— Ну, хозяин, пришли к тебе по делу. Сразу решишь — сразу уйдем, мешать не станем. Не сразу решишь — пеняй на себя. Накурим, надышим, стулья нагреем до вспышки.

— Я слушаю, Егор Трофимович, — сказал директор, смущенно перебирая бумаги на столе.

— Что слушаешь? Шахты стоят. Посадил на ограничители. А кто будет уголь давать?

— Не справляемся, Егор Трофимович.

— Почему? — Абакумов уставился на директора и так, не спуская глаз, выслушал его объяснения о трудностях ремонта, расшлаковки топок и тому подобное. Он слушал внимательно, но наконец это ему, очевидно, надоело, и он перебил:

— Все ясно. Что нужно тебе?

— Слесарей и рабочих.

— Сколько слесарей?

— Пятнадцать.

— Дам.

— А рабочих?

— Не моя забота. Тут Горюнов — Советская власть, он даст.

Абакумов придвинулся ближе к столу и настойчиво убеждал выделить для обеспечения шахт электроэнергией турбину, которая должна была быть закреплена за бассейном.

Говоря, Абакумов изучал собеседника и, когда понял, что тот достаточно «доведен» до принятия положительного решения, поставил вопрос: выделит он теперь или нет? Директор согласился. Абакумов улыбнулся, в черных глазах заиграла хитринка. Теперь он мог просто шутить, продолжать общую беседу. Он сделал свое дело, из-за которого пришел сюда.

Я понял, что Абакумов был влюблен в свое угольное дело и для него старался во всю силу.

Директор сложил в стол какие-то бумаги, запер ящики.

— Вижу — собираешься показать нам тот товар, что только что купили, — пошутил Абакумов. — Турбину покажешь?

— Сейчас сходим на электростанцию, — подтвердил директор. — Покажу все. Только поскорее мне слесарей присылайте. Мне нужны квалифицированные рабочие, ой как нужны! Выручайте, Егор Трофимович.

— А кого я тебе пришлю? — Абакумов потер усы, хитро прищурился. — Ты думаешь, я тебе пришлю чертоломов? Наполовину ремесленников пришлю, понял? Ему нужно завернуть болт, а он сам с болт. А работать будут. Договорились? Хорошо. Покажи-ка нам, хозяин, свою станцию.

Вслед за Егором Трофимовичем поднялись все.

Осмотрев турбинный зал, мы спускаемся к топкам, чтобы посмотреть процесс расшлаковки не остывшей до конца топки, труд, о котором всегда отзываются с уважительным восхищением.

Я вспомнил мальчика — Ваню Терешина — ведь его отец работает расшлаковщиком.

— Там должен работать Терешин? — спросил я нашего проводника-инженера.

— Терешин? Видите, я турбинщик, — сказал он, смущаясь, — своих-то я хорошо знаю... Но кажется, я слышал о расшлаковщике Терешине.

Внизу так гудело, что совершенно не было слышно друг друга. Шаровые барабаны с грохотом и визгом перемалывали уголь; под большим давлением угольная пыль неслась в огонь.

У первой топки уже стояли Абакумов, Горюнов и еще несколько их спутников, спустившихся раньше нас. Возле них люди в брезентовых костюмах тянули шланги. Черные ручейки прокладывали дорожки по угольной пыли.

— Что там? — спросил я, наклоняясь к уху нашего проводника.

— Вот это и есть расшлаковка, — прокричал он, — котел не должен надолго выходить из строя. Топка расшлаковывается, не дожидаясь, пока совершенно остынет. Мы не можем ждать двенадцать — четырнадцать часов. Конечно, так работать очень трудно, и раньше даже запрещалось, но война заставляет... Раньше мы могли жить более или менее роскошно, останавливать турбины и ожидать. Теперь сами знаете, как туго пришлось с электроэнергией на Урале. Сколько новых заводов пришло. Приходится идти на все... Наши расшлаковщики — герои. Скалывают шлак при восьмидесяти градусах!

Из первой топки выскочил человек в сухой одежде, с лицом, закутанным тряпками. Последние капли влаги, казалось, вылетали и лопались в раскаленном воздухе, не отпуская этого человека даже после того, как он покинул топку. Человек прислонился к столбу, его подхватили под руки, развязали тряпки, как бинты на ране, усадили на табурет. Я видел его бурое с черным лицо, растрескавшиеся губы, жадно хватавшие воздух.

— Воды, — попросил он, ребром ладони, как рашпилем, проводя по губам.

Ему быстро подали ковш. Он обмакнул усы, растопырившиеся от сухого жара, потом выпил, не отрываясь, весь ковш.

— Сколько воды вышло, столько должно войти. Еще дать? — спросил старик с метлой.

— Еще немного, — сказал расшлаковщик. — Сегодня жарко невмочь.

Медный пожарный карабин, насаженный на жирный шланг, блеснул совсем рядом. Человек с карабином направил его на двух рабочих, обвязанных тряпками. Твердая струя ударила по их спецкам, отскочила, и по земле снова побежали ручьи. Один из рабочих наклонил голову, чтобы лучше пропитались и шляпа,

и тряпки, затем, перехватив в правую руку кирку, крикнул и, я бы сказал, весело первым бросился в печь. Вслед за ним в печь нырнул другой. Жар охватывал каждого из них сразу, и клуб пара выпрыгивал наружу и, подпрыгивая, рассеивался где-то у изогнутой коленом трубы воздуходувки.

Люди, бросавшиеся в печь с кирками в руках, точно сгорали внутри. Томительное ожидание их возвращения в конце концов превращалось в нервное напряжение. Не сгорели ли? Не в обмороке ли? Но оттуда слышался отдаленный шум, словно стук клюва дятла.

— Пятнадцать минут! — прокричал техник и махнул рукой, как на старте бегунов или лыжников.

— Давай! — проорали в устье печи.

Рабочие выпрыгнули оттуда, и их дымящиеся тела сразу же подхватили на руки.

— Терешин! — выкрикнул техник.

— Терешин ходит один, — проорал кто-то над моим ухом, словно гордый за такого удальца, — он не любит, чтобы ему мешали.

— А если ему там станет плохо? — спросил я. — Кто ему тогда поможет?

— Терешину плохо? Эва! Не таков Терешин!

Я всегда с хорошим чувством наблюдал товарищескую спайку рабочих опасных профессий. Слишком близко «маневрируя» возле смерти, они научились уважать своих товарищей, отличающихся большой сноровкой и удалью. Ведь в тылу есть профессии, равные профессии летчика, танкиста, штурмовика, бронбойщика. Здесь тоже есть свои герои, прославленные и иногда безвестные, но безвестные только на стороне, а не в среде своих товарищей. Но где же Терешин? Я представлял себе, что откуда-то из-за колонны шагнет к печи могучий богатырь и с озорной улыбкой ринется в печь. Таким мне хотелось представить отца вчерашнего мальчика Вани. Но вот с табурета поднялся человек, перед этим выскочивший из топки. Терешин деловито наворачнул на лицо крест-накрест тряпки, чтобы оставить прорези для глаз, кто-то сверху натянул ему очки, вода из брендспойта круто ударила в него, но он не зашатался.

— Готово! — скомандовал все тот же техник.

Терешин пошел несколько колеблющейся походкой, чуть ли не волоча по полу кирку, но стоило ему приблизиться к топке и багровому отдаленному ответу упасть на него, как он выпрямился и бросился в печь. Снова вспыхнуло и рассосалось облачко пара.

Гудели огромные барабаны, перетирая с грохотом и свистом свою суточную пищу в восемьдесят тысяч пудов рыхлого губахинского угля, выброшенного из-под земли шахтерами, сейчас прогрызающими где-то под ногами толщу земли. Восемьдесят тысяч пудов сгорит, как молния, и понесется по уральскому кольцу, чтобы крутить и крутить тысячи станков, выбрасывающих на поля сражений эшелоны оружия и снарядов.

А внутри раскаленной топки остервенело рубил киркой незаметный рабочий Терешин, один из могучего поколения русских людей, отбивающих яростную атаку врага по всему огромному фронту грядущей победы.

— Надо попробовать что-то другое придумать,— слышал я мощный голос Абакумова.— Варварство! Может быть, отбойным молотком пошуровать, а может, струей под давлением пройтись по горячему шлаку. Попробовать взорвать его водой. А это что за чертоломия!

Гудел Егор Трофимович, стараясь пересилить грохот и свист, и свежим умом своим сразу же доходил до того, до чего несколько позже дойдут тепловики ГРЭС. Будет испытан потом способ гидроудара по горячему шлаку, и расшлаковщики топок упростят свой труд.

Терешин выполз из люка топки, бросил кирку, упавшую на пол со звоном,— так высохли и дерево рукоятки, и металл.

Мы окружили его, подали воды, помогли ему распутать тряпки. Он даже вначале не понял, почему все эти люди, осматривающие станцию, вдруг принимают в нем такое участие.

— Я ничего,— говорил Терешин,— полный порядок.

— Угорел? — спросил Егор Трофимович.— Ишь, какая геенна огненная!

— Надо же... Не я, так другой...

— Сына твоего вчера видел, познакомились, Терешин,— сказал Абакумов,— славный парнишка. Только в шахту не хочет.

— Да... У нас в роду не было шахтеров...

— Одно дело делаем,— сказал Абакумов.— Что и говорить!

Терешин улыбнулся, обнажив зубы, забитые серой окалиной.

— Неужто Ванюшку видели?

— Да. Верно, паренек хорош. Учится в школе.

— Да, хорош паренек,— сказал серьезно Горюнов,— очевидно, в отца пошел.

Терешин застенчиво улыбнулся:

— В отца?.. Отец что!

Мы пожали на прощанье Терешину руку — железную руку с буграми мозолей и горячими пальцами.